

О «МАЛОЙ ПРОЗЕ» ИСКАНДЕРА, ИЛИ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ МУХИ

Фазиль Искандер. Три рассказа. «Юность», 1988, № 2; Два рассказа. «Знамя», 1986, № 12; Кролики и удавы. Философская сказка. «Юность», 1987, № 9; О движении и добру и о технологии глупости. «Литературная газета», 1986, 30 июля.

По-прежнему самое заметное свойство Искандера — юмор. Довольно редкой разновидности, очень... настоящий, что ли.

Смешное у него рождается словно бы из ничего, являясь всегда неожиданно. Однажды еду в пригородной электричке, читаю томик Искандера. Сосед завистливо спрашивает:

— Над чем смеешься?

— Ну... — начинаю пересказывать, — тут один петух приманивает курицу зерном. Она находку склевывает — и наутек. А он догнать ее не может. Жутко смешно пишет.

Однако мы оба удивлены: потешаться тут, собственно, не над чем. Заглядываем в книгу.

«Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности. Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь сохранять солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение».

Юмор Искандера не поддается вольному пересказу, ибо комический эффект у него достигается единственными лезвиями-словами. Можно было бы говорить о его причастности к традиции гоголевского смеха, если бы... такая традиция, как мне кажется, не обрывалась сразу же после Гоголя.

В данном случае масштаб сравнения меня не смущает. Искандер говорит:

— Талант — это количество контактных точек соприкосновения с читателем на единицу литературной площади.

В области комического по количеству таких точек он вряд ли уступает кому-либо из писателей прошлого или настоящего.

Вполне естествен вопрос: чем заняты его герои? Наверное, их жизнь изобилует курьезными событиями?

Чаще всего они ничем не заняты. Откровенно бездельничают на многих единицах литературной площади. Например, тетушка

Хрисула в рассказе «Харлампо и Деспина» («Юность», 1988, № 2) наблюдает за нравственностью своей племянницы-невесты, едва успевая за время семистраничного наблюдения разок-другой полакомиться инжиром. Или вот еще интрига: компания дяди Сандро собирается за столом и разводит ляй-ляй конференцию... В этом ряду достаточно медлительная философская сказка «Кролики и удавы» кажется остро сюжетным повествованием. М-да, не густо...

Не густо?! Совсем наоборот. Просто в своем познании человеческой природы мы переходим на более глубокие уровни — «молекул», «атомов», «элементарных частиц»; время там течет медленнее, но красками открывающийся мир не обделен. Интересно вслед за писателем поупражняться в искусстве фиксировать все и вся, каждый жест, каждый шаг, каждый полумек.

«Он (важничавший профсоюзный деятель. — С. И.) стучал в стекло, а потом тыкал пальцем в высоко поднятый портфель...»

Почему это функционер, штурмуя переполненный автобус, показывает водителю свой портфель? Может быть, он и сам не объяснит этот жест. Но мы-то можем вывести его на чистую воду.

«...стараясь внушить шоферу, что не он сам по себе спешит, а содержимое портфеля требует немедленного перемещения. И шофер сдался, его доконал этот фельдъегерский жест».

Количество подобных расшифровок в прозе Искандера рекордно высоко. Они, собственно, определяют ее своеобразие, более того, являются условием ее существования. Сам писатель, становясь искандероведом, говорит:

— Я делаю из мухи слона, но муха должна быть настоящей.

Выискивая смешное там, где мы привыкли видеть лишь скуку, Искандер не особенно нуждается в интриге. Ему не нужен дармовой, падающий с неба комизм! Писатель явно тяготеет к интенсивному юмору, которому внешние эффекты мало что добавляют.

...Он одержим страстью к обобщениям, расширительному толкованию неприметных, казалось бы, событий.

«Вдруг он (профсоюзный деятель, оказавшийся в одной дружеской компании с

автором.— С. И.) поманил меня. Я вскочил, показывая, что давно созрел для конспирации. Отведя меня в уголок, он стал договариваться со мной относительно новой рыбалки... Мне показалось странноватым, что он шепчется со мной о таких пустяках, тем более что рыбалка не имела ни малейшего браконьерского оттенка».

В авторе просыпается охотничий инстинкт. Интуиция подсказывает, что он столкнулся с определенным типом людей. С каким-то явлением, которое нужно немедленно осознать. Он начинает прокручивать в мозгу прошлые встречи с профсоюзным деятелем, и — эврика!

«Он был носителем Тайны...»

Ключик к образу подобран. Теперь Искандер принимается за изготовление «слона»: «...носитель Тайны, носитель неведомой информации всегда нам кажется умней, чем есть... Обыкновенное здравое суждение носителя Тайны мы склонны воспринимать как большую мудрость. А глуповатое мы склонны оправдывать тем, что главные умственные силы у него уходят на более важное дело. На Тайну. Один молодой ученый долго настаивал на том, чтобы защита его диссертации проходила при закрытых дверях... ему в этом отказали — и диссертация с треском провалилась. Тайна не состоялась... Тайна вполне гуманно оберегает слабый ум от столкновения с сильным умом».

Его наблюдения, столь же острые, сколь и возвышенные, часто утрамбованы до размеров афоризма.

— Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильной располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе...

— Скупой человек может быть умным, может быть талантливым, но он не может быть обаятельным. Обаяние есть форма выражения щедрости...

— Мудрость — это ум, настоящий на совесть...

И так далее. Любопытно, что выводы свои Искандер никому не навязывает. Вы можете с жаром броситься их опровергать — он же, слушая вас, будет невозмутимо попивать кофе, а потом переведет разговор на другую тему.

Нет, Искандер не записной юморист, он прежде всего любомудр. Его юмор — часть его мудрости, а может быть, оригинальная форма извинения за избыток мудрости. Когда читаешь его, думаешь, что смешное не продукт специфического жанра, а заключительная стадия познания истины, ста-

дия, которую просто не все достигают. Если вы сумеете сказать о многом в немногих словах, получится смешно.

Повествователь у Искандера независимо от своего возраста — вечный ученик. Он бросает взгляд как бы первооткрывателя на ту досконально известную автору «муху», из которой должен получиться настоящий «слон». Для иллюстрации обращаюсь к рассказу «Дядя Сандро и раб Хазарат». («Юность», 1988, № 2). В нем есть мудрость, отточенная до юмора, юмор, переливающийся в грусть. Это своеобразная менделеевская таблица со всем набором элементов творчества Искандера, о которых я успел упомянуть.

Его герои выходят на сцену с изумительной простотой. И сам автор — среди них.

«Итак, мы в верхнем ярусе ресторана «Амра». Действующие лица: дядя Сандро, князь Эмухвари, мой двоюродный брат Кемал, фотограф Хачик и я. Цель встречи? На такой следовательский вопрос я бы вообще мог не отвечать, потому что цели могло и не быть».

А несколькими абзацами ранее Искандер изучает взглядом неопита... Пизанскую башню. Пока непонятно, какое она имеет отношение к кому-либо из собравшихся. Но такая связь есть.

«Кстати, о Пизанской башне. Разглядывание ее во всяких альбомах и на любительских снимках всегда вызывало во мне безотчетное раздражение... Я считаю так: если ты Пизанская башня, то в конце концов или рухни, или выпрямись! Иначе какой воодушевляющий пример устойчивости для всех кривобоких душ и кривобоких идей!.. Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры и которую я сейчас открыл и даю ей название — комплекс Пизанской башни... Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все еще держится».

Теперь во всеоружии новонайденного «комплекса» Искандер возвращается на веранду ресторана «Амра» и первооткрывательски вглядывается в своего двоюродного брата Кемала.

«И вот человек с этим пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, еще есть явления и люди прочные, крепкие, надежные. И человека временно отпускает гнет

его пизанского комплекса, и он отдыхает в тени Кемала и, естественно, старается продлить этот отдых».

В этом месте я явственно слышу металлический звук, который издает замок сейфа, если код набран правильно. Мне, читателю, тоже нашлось место в ресторане «Амра», в тени Кемала. Все в сборе, теперь начинается обычный для Искандера «декамерон».

Мудрость автора, не боюсь повториться, замечательна тем, что она всячески маскируется, стыдится выглядеть очень уж мудрой. Абхазский весельчак и мыслитель дядя Сандро любит облекать свои находки в простоватую форму:

— Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий.

Или — в качестве морали к повествованию о рабе Хазарате (не сразу смекнешь, насколько она глубока):

— Я понял: раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно — отомстить, затоптать того, кто его топтал.

Из трех новелл, предложенных читателю, последняя — самая искандеровская. Конечно же, в ней нет интриги. Тогда о чем она? О беспечном юноше по имени Вахтанг, добродушно проматывающем капиталы папаша, директора торгового дома. О пизанском коварстве человеческого счастья, построенного на потреблении.

Восхищаясь Вахтангом, мальчик, от лица которого ведется повествование, восхищается праздником жизни, куда он, мальчик, пока не допущен. Соседи по улице любуются видимой гармонией в семье директора торгового дома. Кому какое дело, как закладывает фундамент благополучия папа Вахтанга в дневные часы? Главное, что на их улицу он ступает добропорядочным гражданином. Его обсуждают:

— Мог бы, как нарком, на машине приехать...

— Не хочет — простой.

Вечерами простые папа и мама Вахтанга сидят на красивых стульях у калитки и, поджидая вольного, как ветер, сына, вяло едят арбуз. В таких случаях тетушка рассказчика заговаривала с ними по-грузински, хотя и они и она прекрасно понимали по-русски. «И это тогда так осознавалось: с богатыми принято говорить на их языке» (тут мне хочется пожалеть бедную тетушку, не ведавшую, что находится

под колпаком у своего домашнего Шерлока Холмса).

Не странно ли, что обитатели улицы так любили смотреть на эту «витрину достигнутого счастья»? Или они были начисто лишены зависти?

«Конечно, все они или почти все стремились в жизни к этому или подобному счастью. И все они были в той или иной степени биты и потасканы жизнью... И они, любуясь красивым домом, садом, благополучной жизнью семьи Вахтанга, были благодарны ей хотя бы за то, что их мечта не была миражем, была правильная мечта, но вот им просто не повезло».

Принципиально, что в повествовании Искандера об устричном существовании этой семьи нет обличительных нот. У него сейчас другая задача, не обличительная.

...С нелепой гибелью Вахтанга «витрина» разбивается. Веселая ирония рассказчика сменяется грустью, ибо родительская драма не повод для шуток. Но грусть у него тоже, я бы сказал, «аналитическая».

«Почему-то меня непомерно горя подавила не мать Вахтанга, беспрерывно плакавшая и кричавшая, а отец. Застывший, он сидел у гроба и изредка с какой-то сотрясающей душу простотой клал руку на лоб своего сына, словно сын заболел, а он хотел почувствовать температуру. И дрожащая ладонь его, слегка поерзав по лбу сына, вдруг успокаивалась, словно уверившись, что температура не опасная, а сын уснул».

Лица обитателей улицы, которые приходили прощаться с покойником, выражали, помимо сочувствия, некоторое удивление и даже разочарование. Юный наблюдатель вычитывает в них вопрос:

— Значит, и у вас может быть такое ужасное горе?! Тогда зачем нам было голову морочить, что вы особые, что вы счастливые?!

Жизнь сама, не нуждаясь в авторских назиданиях, доказала какую-то неистинность прежнего существования семьи Вахтанга. Рассказчику же осталось подвести короткое резюме. Стоя у гроба своего кумира, он понял, что не всякий праздник прочен, что жизнь должна иметь глубокий смысл. Искандер вполне убедил меня, читателя, что прочности внешней без прочности внутренней не бывает.

...Не помню уже первого своего впечатления от философской сказки «Кролики и удавы». Перечитывая же ее, заметил за собой, что на сей раз каламбуры и прочие усмешливые детали проскакивают глазами. А вот некоторые наблюдения авто-

ра, прямо-таки экспертизы в области чело-
веч... простите — удавей и кроличьей
психики кажутся просто поразительными.

Меньше всего склонен видеть в «Кроликах и удавах» кальку с какого-то конкретного общественного устройства. Иногда автор вплотную подходит к знакомой нам реальности, иногда уходит от нее. Прежде всего он исследует мир, где сильный «обрабатывает» слабого (или слабый — более слабого), и важнейшие аффекты, позволяющие это сделать. Например, с кропотливостью художника-мультипликатора разбирает он тезис: «Психология кроликов так забавно устроена, что доносящему кролику проще доказать, что невинный кролик устроил заговор против Короля, чем доказать, что тот же невинный кролик подворовывает на складе королевскую морковку».

Полагаю, не все психологические линии автором «Кроликов и удавов» выписаны одинаково ярко. Так, создается впечатление, что власть в кроличьем королевстве схвачена у него получше, чем оппозиция. Но кредо оппозиции (Задумавшегося) сформулировано по-искандеровски точно:

— Мореплаватель не может ориентироваться по падающим звездам.

...Предвижу вопрос: ну вот открыл Искандер, пользуясь чудесным своим микроскопом, слабость человеческую, социальный порок или даже «технологии глупости». Для чего он это сделал? Чтобы потешить читателя? Ведь показав негатив, он тут же подбирает коготки.

Не слишком ли Искандер улыбочив? Не снижает ли его незлобивость остроту даже бесспорно смелых сатирических прозведений?

Думаю, дело здесь не столько в его личных особенностях, сколько в генетическом свойстве той разновидности юмора, что применяется им, а именно: иронии, которая подразумевает игру с читателем, поддразнивание его. Ироничный автор редко выносит приговор миру; он тщательно подбирает свидетельские показания, чтобы читатель оценивал их в соответствии с собственным моральным кодексом. А тот, становясь «присяжным заседателем», вдруг замечает, что у него нет возможностей для маневра. Вывод возможен только один: виновны! И может быть, не столько конкретные персонажи, сколько виновен всеобщий порядок, заставляющий их кривляться и браться за несвойственные им роли.

В давнем рассказе Искандера «Начало» есть слова: «...чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедить-

ся, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором».

И все-таки сомнение, не слишком ли улыбочивым подчас бывает писатель, по сути своей правомочно. Кажется, иногда Искандер принимается шутить оттого только, что стесняется высокого в своей душе...

В поступках героев «Чегемской Кармен» («Знамя», 1986, № 12) чувствуется волюшка — древняя, как то святилище, что обнаружил в горах один из них, ученый. У каждого в характере есть нечто дикарское. Дитя европейской цивилизации Андрей, обдумывая способы отомстить неверной Зейнаб, решает заколоть ее кинжалом. А та, при всех своих современных пороках, воистину Кармен: знает о замысле супруга, но как ни в чем не бывало отправляется с ним в загородную прогулку («убьет — не убьет»). Обаятельный мафиози Даур падает в обморок оттого, что не может продырявить обидчика (древний обычай запрещает гостю портить торжество). Он носит элегантные костюмы, разъезжает на автомобиле, но в сущности той же крови, что и лермонтовский Казбич. «Когда ты писатель и ведешь всю жизнь долгую, кропотливую, осадную войну, такой характер не может не привлекать», — замечает автор.

Мне дорог рассказ чудными лирическими страницами. Восторженность без оглядки, ничем не маскируемая, — редкое состояние Искандера-повествователя.

«Альпийские луга — это вечная весна посреди лета, которую природа припрятала для себя, чтобы не забывать, с чего она начинала. Это струенье легкого меда цветущих трав, настоянное на льдах вершин. Это запах цветов в самом чистом виде, потому что здесь уже исключены всякие другие запахи. Кухня земных запахов осталась далеко внизу. А этот запах хочется глотать, сосать, держать за щекой его свежесть, как в детстве прохладную сладость леденца. Ты пьешь и пьешь его и удивляешься, что он не кончается, потому что там, внизу, мы привыкли, что все прекрасное недолговечно».

Но вскоре писатель спохватывается и гонит от себя дар лирика.

«Посыпался град. С какой-то бесовской точностью градины угадывали, где именно под буркой расположена моя голова, и достаточно больно лупили по ней. Мне показалось, что расположение головы Андрея под буркой они хуже угадывают, и это

было почему-то обидно. Я потихоньку сдвинул голову под буркой... Несколько секунд градины били мимо моей головы, ограничиваясь головой Андрея как главного виновника нашего похода».

Я, конечно, улыбаюсь. Но каюсь, несколько досажаю на рассказчика за то, что мое лирическое настроение сбито этой мельтешней под буркой. Слишком велик перепад. Как ни ценю именно переменчивого, умело заговаривающегося Искандера, как ни привык относиться серьезно к его юмору, очень люблю, когда он оставляет в моей душе долгое лирическое и тревожное эхо...

...Несомненно, Фазиль Искандер трудится в сложнейшем жанре, ибо говорит о простом, размышляет о материях, в кото-

рых и читатель чувствует себя докой. Чтобы быть интересным, ему нужно открывать, открывать и открывать. Если не додумает мысль, не дошлифует слово — глядишь, публика потеряет интерес к его «мухе». Увлечется игрой ума, забудет вовремя поставить точку — результат будет тот же.

Но тут я хочу оговорить за собой право не толковать больше о его относительных неудачах. Замечено, что, если читатель полюбил мир, созданный фантазией художника, для него исчезает само понятие неудачи, поскольку таковая воспринимается как заготовка к будущему яркому произведению. Я — в роли такого читателя.

Сергей ИВАНОВ.



«...ДО БЫЛОЙ СЛЕПОТЫ НЕ УНИЗИМСЯ»

Константин Симонов. Глазами человека моего поколения (Размышления о И. В. Сталине). «Знамя», 1988, № 3—5.

Как назвать мне мое поколение — перед войной родившихся, переживших войну в тыловых многолетних бараках и пошедших в школу в первом мирном году? Предвоенным, военным, послевоенным? Как ни скажешь, все выйдет вокруг одного и того же.

Мы жили бедно, имели всего понемногу. Было у нас два десятка песен, три танца, четыре фильма, четыре писателя и один любимый поэт — Константин Симонов.

«Я вас обязан известить, что не дошло до адресата... Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой... Шаг к двери — заперто. Шаг к лампочке — темно. И шаг к тебе, чтоб быть с тобою рядом... Мне хочется назвать тебя женой... Кто не ждал меня, тот пусть... Он вновь по гроб нам будет мил, пусть просто скажет: — Я там был».

Говорят: это будто писало само время. Я сказал бы так: это будто мы сами писали. Все, что нам в то время хотелось бы высказать — было высказано нашим первым поэтом, просто и исчерпывающе полно, так, что оставалось только цитировать или читать целиком наизусть, что мы и делали, и не только с эстрады, но и в узком, и в самом узком, на двоих, кругу.

В День поэзии, в 1956-м, я заранее узнал, где будет Симонов, туда и пошел. В книжном магазине в Охотном ряду народу было — не продохнуть, все пришли, чтобы увидеть и услышать Симонова. Он стоял прямо на прилавке, расставив ноги, светлая куртка темнела пятнами пота, он

был мужественно красив и читал, благородно грассируя, одно из последних: «Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, где и с горя и с радости ты ночевал...» Магазин все-таки оказался мал, мы вышли в сквер университета, и там у памятника Ломоносову я впервые увидел нового поэта — молодого, лобастого Евтушенко, которому на ближайшие пять-шесть лет было суждено стать самым близким и самым нашим. Он прочел стихи про первомайскую демонстрацию, такие, как казалось тогда, революционные, да они такими и были, что ж тут язвить... И лукаво заменил на ходу строчку, подставив Симонова вместо министра: «...И то, что Симонов — пешком...» Это вызвало смех огромной аудитории и сблизило всех еще больше, хотя куда уж... Но это было и прощание с Симоновым. И шуточная строчка Евтушенко, и сам Евтушенко, и прочитанные к тому времени Другие Поэты не то чтобы зачеркнули и уничтожили, но как-то приглушили и оттеснили. Константин Симонов отошел в сторону. Нет, он не был пересмотрен, переоценен, отринут, просто отошел в сторону, в прошлое...

Между тем он продолжал существовать и в настоящем — как носитель имени, государственный деятель, автор романов и киносценариев. Имя его нет-нет да отсвечивало тем романтическим блеском юности, слегка оживляя серые списки начальственных лиц; у романов были свои читатели и тем более зрители — у кинофиль-